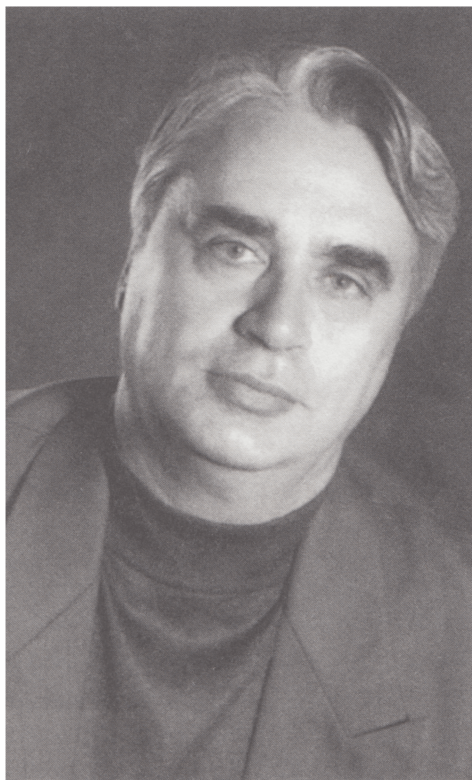


БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК



Борис Евсеев

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ТЕРРА»
КНИЖНЫЙ КЛУБ

Живорез

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

Издается с 1925 года

БОРИС ЕВСЕЕВ

ЖИВОРЕЗ



Издательский дом «Огонек» — «Терра—Книжный клуб»
Москва — 2008

ОБ АВТОРЕ

Борис Тимофеевич Евсеев родился в 1951 году в Херсоне. В 1971 окончил Херсонское музучилище, с 1971 по 1974 учился в Институте им. Гнесиных. В 1978 году в Самиздате вышел двухтомник его ранних литературных произведений. В 1995 Евсеев окончил Высшие литкурсы при Литинституте им. Горького, а затем Институт журналистики и литературного творчества.

В конце 1980-х в журнале «Огонек» были опубликованы его стихотворения, а в 1991 году сразу несколько толстых журналов («Октябрь», «Волга», «Урал» и др.) напечатали его рассказы и стихи. Позже произведения Евсеева стали печатать журналы «Новый мир», «Дружба народов», «Смена», «Москва» и др. К настоящему времени вышли в свет уже несколько сборников стихов и прозы Б. Евсеева: «Сквозь восходящее пламя печали», «Романс навыворот», «Шестикрыл», «Процесс воображения» (поэзия); «Юрод», «Баран», «Власть собачья», Отреченные гимны», «Романтик», «Узкая лента жизни», «Площадь революции» (проза). Б. Евсеев работал обозревателем «Литературной газеты», заместителем главного редактора «Книжного обозрения», главным редактором Издательского дома «Хроникер». Является лауреатом Горьковской премии (2005), Национальных Артийских премий (1996 и 2001), премии «Нового журнала» (США, 2000), журналов «Литературная учеба» и «Октябрь».

- © Издательский дом «Огонек»,
внешнее оформление, 2008
- © Терра—Книжный клуб, 2008

ЖИВОРЕЗ

1

27 июля 1919 года Нестор Махно, выманив обманом в село Сентово на повстанческий съезд атамана Григорьева, саморучно застрелил его.

Первым выстрелил в Григорьева махновский штабист Алеха Чубенко. Но решающие выстрелы остались за Нестором Ивановичем.

А началось с того, что бывший штабс-капитан Григорьев, поддержавший сперва гетмана Скоропадского, потом Центральную раду, потом Петлюру, а потом и Советы, внезапно на Советы восстал. После погрома и расстрелов в Елисаветграде Григорьев в мае того же 1919 года занял с налету Мариуполь, Херсон, Николаев, Александрию, Знаменку, Христиновку и несколько других важных в военном отношении пунктов.

Однако к концу мая, потерпев в упорных боях поражение от Ворошилова и Пархоменко, терзаемый деникинскими авангардами и конницей Шкуро, Григорьев с остатками войск вошел в расположение армии Махно.

После недлинных переговоров решено было силы объединить. Правда, махновские командиры, а равно и некоторые рядовые бойцы из идейных анархистов-«набатовцев» от союза с бывшим штабс-капитаном сразу и резко отстранились. Его обвиняли во многом: в заурядном бандитизме, в связях с Деникиным, в тайной любви к Советам...

27 июля на съезде командиров в Сентове, близ Александрии, на Григорьева орешковым градом посыпались обвинения.

— А чего это ты, штабс, в прошлом месяце на Плетеный Ташлык не ходил? Генерала Шкуро жалел?

— Та ты ему в зенки глянь, батько! Он же охвицерню по хуторам прятал! От та охвицерня в зенках его навек и застекленела...

После этих слов Григорьев выхватил револьвер, но Алеха Чубенко выстрелил из маузера первым. Раненый Григорьев вскочил, кинулся во двор, вскрикивая на бегу: «Ох, батько! Ох, Нестор!»

Махно выстрелил ему в спину, но Григорьев продолжал бежать и упал только во дворе. Там Махно двумя выстрелами его добил.

Все в том же дворе, близ обвалившегося тына, под вербой стоял прибывший вместе с Григорьевым в расположение войск Махно Игнат Ивчин. К стрельбе ему было не привыкать. Однако выстрелы в спину, вывалянное в толстой лунной пыли лицо атамана Григорьева — того уже перевернули на спину — тяжело подействовали на пятнадцатилетнего Игната.

Тем же вечером, переждав в левадах выкатившую полную луну, Игнатий Ивчин — или Гнашка, как звали его в отряде Григорьева, — бежал к красным.

Но и у красных не узнала душа его покоя.

Гнашка до Гражданской был маляр, белил хаты, малевал на них желтые и синие цветы. Ростом вымахал высокий, лицом — светлый, чубом и вовсе белый. А мыслями — дитя дитем. Да мысли ему и не нужны были! А нужна была красота вокруг. Но от красоты Гнашку быстро отвадили, из маляров поперли. Поперли за то, что намалевал однажды вместо цветов синих — розовые: вроде корочки на лужице бычьей крови, вроде пенки на вишневом варенье

Гнашка любил красоту и чужие жизни, скоро и нагло обрываемые смертью, выносил с трудом...

У красных его определили быстро.

— Будешь в команде — «ноль». А там покумекаем, хто ты такой есть: лазутчик махновский али не лазутчик, — сказал Гнашке командир Саенко, ходивший зимой и летом в кожаном картузе и никогда не застегивавший доверху — словно было ему тошно-муторно с перепоею — выгоревшую на солнце гимнастерку.

— Команда у нас лихая. А и ты, вижу, парубок не промах. Идем знакомиться.

Они шли по маленькому днепровскому городку, и жители, увидав Саенко, отступали глубже в тень, хоронились по дворам, по летним кухням.

В первую же ночь Гнашкиного у красных пребывания Саенко своеручно расстрелял 38 человек. Гнашку попервоначально неволить не стал, но зорко примечал, как неохотно скидывает новый боец мосинскую трехли-

нейку, как отводит дуло чуть в сторону и вверх, как впереводку всему строю выталькивает из себя судорожное хрипловатое дыхание.

— Со всеми вместе — так и дохляк сможет. А только завтра прятаться тебе не за кого будет: один отстреляешься. Ты — и они. Они — и ты. От тогда и посмотрим, что ты за гусь.

— Не могу я, товарищ Саенко. Душа крови не принимает. Отпустите, Христа ради, в инженерную команду!

— Не можешь? А чего это я могу, а ты не можешь? Ладно, приходи вечером на Катерининскую улицу. Я тебе средство скажу.

Перед вечером, после дурного солнцепека и целодневного хождения по начальству — решали, как по справедливости поступить с бывшим «григорьевцем», — Катерининская улица окатила ум и сердце прохладой.

Серебристые пониклые вербы, ветвистые осокори бросали тень густо, далеко.

Гнашка шел, стараясь наступать на границу солнца и тени. От этого ему делалось спокойней, легче. «Хочу — в тень ступлю, хочу — на солнце буду», — говорил он себе, и сердце его выравнивало бой, отдыхало от гулкого стука.

Во дворе названного Саенкой дома строился еще один. Справная молодая хозяйка в красно-синей, в клетку плахте месила голыми ногами глину.

Она неприязненно зыркнула на Гнашку и тут же зашла за уложенные пирамидками самодельные глиняные кирпичи — за калыб.

«Богатеют люди на Гражданской, ох как богатеют», — без зависти, а как о правильном и нужном деле подумал Гнашка.

Саенко сидел в горнице за накрытым столом один. Красный угол был пуст, за ним обозначалась свежая побелка. Иконы, видно, только на днях из угла этого убрали.

Никакой еды, никакого угощения на столе не было. Только посередке стояла крытая белым рушничком, чуть выпирающая ребром посуда.

— А, пришел, — засопел Саенко неприязненно. — А я уж хотел ординарца за тобой посылать.

Гнашка мялся в дверях. Ждал, пока Саенко пригласит сесть или скажет, зачем звал.

Но тот уронил вдруг огромную стриженую голову на руки, закручинился. «Пьяный, наверно...»

Гнашка снова переступил с ноги на ногу, тихонько кашлянул.

Саенко не отозвался.

Тогда Гнашка медленно, задом, попятился к занавеске, что висела в горнице вместо дверей.

— Стой. Сюды иди. — Сидевший за столом, даже не подымая головы, почувствовал Гнашкино боязливое движение. — Тебе приготовил, — двинул он плечом в сторону прикрытой рушничком посуды. — Я тебе вот чего скажу... Как зовешься, махновец?

— Гнашка я... Да я у Махна и не был почти. С батюшкой Григорьевым к нему пристал. На три дня только!

— Гнашка... Игнатий, стало быть. А по батюшке как?

— Северинович.

— Вот чего, Гнашка. Вот чего, Игнатий Северинович. Тут про меня много всякого треплют. Особливо баба эта... Ну та, что во дворе... Видал, небось. Варькой зовут. Красивая... А язык — как бритва... Так я к чему это? А к тому, что ежели тебе не помочь — каюк Гнашке-Ховрашке. Или сам я тебя за неподчинение в расход пуцу, или наши — из команды «Ноль» — тебя кончат. Пропашие мы, слышь ты, в команде люди. Меня и всех наших Ворошилов обещал живьем в землю зарыть. А мы что? Мы ничего... Надо ведь гадов расстреливать. Понимаешь — спервоначалу вешать хотели. Да вешают теперь токмо белые. А мы не можем. Не по-нашему это...

Саенко вдруг всем корпусом развернулся к Гнашке.

— Кумекаешь? Все должно быть — по-революционному, а не как-то так... ну, по-другому, словом. Ты сидай, сядь... Вот, приготовил тебе. Выпьешь — сердце каменным станет. Ни вправо, ни влево. Тяжелое будет, не ворохнется! А нам без каменного сердца — никак. Кумекаешь? Я ведь... Бывало, в день по шестьдесят человек расстреливал. А когда и по семьдесят. И это только тех, кого своеручно. И мутило меня опосля, и головой о коряги било! Трудно поначалу терпеть-то. От и научили меня валахи бессарабские: стакан крови перед тем делом выхлестывать. На несколько дней одного стакана хватает! Токмо мы не вурдалаки, не думай! Вурдалаки — они из живых кровушку пьют. А мы — мы токмо из мертвяков. Мы сами — мертвая кровь! Сами — мертвая рота!

Саенко вдруг вскочил, дернул с силой Гнашку за руку. Тот задком на табуретку и опустился.

— Снимай рушничок, пей.

Гнашка с осторожностью поднял полотенце.

И пробил его ноздри наскрозь, пробил, а потом и разорвал носоглотку — запах горьковато-стоялой человеческой крови.

Такую кровь вдыхал он, падая во время перестрелок головой в траву, такую же — лужицей — посыпали песочком через пару часов после того, как кончили атамана Григорьева.

— Ишо нюхает он! — фыркнул досадливо Саенко, заметивший, как дрогнули краешки Гнашкиных ноздрей, и заподозривший в этом трепетании ненависть к продукту его неусыпной деятельности. Потом, запечалившись, сказал: — Свежее — не было. Вчерашняя. Ну, чтоб правдивей сказать — ночная. Оно б, конечно, лучшее — свежей, сегодняшней... Да где взять ее сегодня? Ни одного гада человеческого нам на сегодня не выделили.

Стакан крови стоял полный доверху. И хоть была она несвежей, вчерашней, казалось Гнашке: кровь слегка дымилась.

— Пей! Застрелю! — бешено крикнул Саенко.

Тут же по двору забегала, смешно, как младенец, шлепая босыми ногами, запричитала в голос — громче, громче — языкатая Варька: «Ой, горе мне, горе! Горе — и край!»

Лобастый как бычок, кучерявый на висках Гнашка зажмурился и, с каждым глотком привыкая все сильнее к дымно-соленому, горько-уксусному вкусу человеческой крови, опорожнил стакан до дна.

Глаза открыть он боялся. Может, поэтому — показалось: восходят по жилам его остроперые рыбы, белобрюхие лягушки всплывают в животе кверху пузом, пляшут в голове малые, быстрые, до гвоздочка выкованные кони, ходит по рукам сила сильная, и дрожь из них уходит. А сердце... Становится оно стиснутым, крепким. Улетают из сердца боязнь с тревогой, и мелкий болезненный перестук высыпается, как тот сор из сухой, продутой ветрами тыквы.

Ну а за стуком вослед — и само сердце выкатывается из груди. И бежит оно, и подпрыгивает. Укатывается по пескам, плывет над реками. И не достать его ни пулей, ни рыбацкой сетью. Правда, потом — назад ворочается. И дыра в груди зарастает, зашивается суровыми нитками. И становится в сердце тесно, каменно: хоть бей в него молотом, саблей с налету секи!

Поздним вечером, побывав, где ему было надо, и крадучись по Катерининской улице, мимо дома Саенки, — услышал Гнашка тихий звон.

Звенел — как от молока, бьющего из коровьего вымени, — полумисок, а может, жестяное ведро. Гнашку поволокло к окошку. Еще не успев

отдернуть занавесок, понял он, что звенит. Тонкий и резкий запах человеческой крови снова резанул по ноздре. Белотелая мертвая Варька низко свешивалась с кровати на пол. Из горла в таз выбулькивала кровь. Звон нарастал, тихий звук скидываемой крови забивал уши, голову. Рядом с кроватью кто-то впотьмах шевелился, ползал у Варьки в ногах, подвывал тихо. Гнашка дернул из-за пояса наган, нажал на спуск.

Наган дал осечку...

Через полчаса, застрелив у заставы саенковского ординарца, Гнашка расположение красных войск навсегда покинул.

Но перед тем как покинуть днепровский городок, услышал он голос покойницы матери.

«Тихо, солдат нет и вечер, — то ли напевала, то ли нараспев, как молитвой, говорила с ним мать. — Выходи, иди! По-над рекой иди, акациями и кучугурами иди. На вечерней дороге — не тронут. Как та кукушка — с калины на вербу — полетит, поскачет поперед тебя моя жизнь...»

Увязая, шел Гнашка по пескам, шел по траве и камням. Шел на юг. Окаменевшее сердце позволяло ему все: вернуться и насадить на вилы длинноволосого и дурашливого Алеху Чубенко, застрелить Саенку, переколоть штыком саенковскую — днями и вечерами отсыпавшуюся, а ночью труждающуюся до седьмого пота — команду...

Возвращаться, однако, Гнашка не пожелал. Через камыши, по суховатым лесопосадкам, илистыми притоками Днепра — двинулся он домой, на хутор.

Стакана, налитого Саенкой, хватило Игнату чуть не на три года. Потом — бунты, голод, раскулачиванье, колхозы... Сердце его постепенно становилось слабей, пугливей. Перед второй войной с германцами это ослабевшее сердце учуяли: дали Игнату — припомнив батьку Григорьева — четвертак.

2

— У нас в городе до сих пор живет ординарец батьки Махно, Петр Захарович З. — сказал как-то отец. — Он, знаешь, в музей краеведческий иногда заходит.

Этого самого З., человека с пугающе ошпаренным лицом, с неестественно вывернутыми багровыми веками без ресниц, ступающего по асфальту медленно и косолапо и живущего на соседней с нами Воронцовс-

кой улице, я видел и раньше. С ним никто никогда не разговаривал, дети — даже подростки — кидались от него врассыпную.

Чтобы показать, что после окончания нашего городского музыкально-го училища и поступления в московский институт он считает меня абсолютно взрослым, отец добавил:

— Двадцать пять лет — от звонка до звонка — оттрубил. Вернулся, и — как огурчик. Но самое странное... — отец чуть поперхнулся, словно понял: этого говорить не следует. — Но самое странное — не в нем, в его приятеле. Я, знаешь, видел их как-то вместе. Ординарец махновский, вместе с этим самым приятелем приходил ко мне в театр. «Фиалку Монмартра» слушал. Потом все орал на улице: «Карамболина, Карамболетта...» Кстати, правильно, безо всякой интонационной фальши, орал. Так вот. Про этого самого приятеля говорят, будто он с самим Саенко водился. Был такой... Садист не садист... Ну, в общем, изверг Красного Югфронта... — Отец нахмурился. — Так я к чему это? Оказалось, живет приятель ординарца рядом с нашим дедом. Ну, помнишь, когда тебе было лет восемь, мы из дедова городка пешком ходили на хутор. Малая Ардашинка называется...

Я, конечно, помнил. Но почему-то подумал: вряд ли приятель махновца живет в этой самой Малой Ардашинке. Слишком уж мелкий хуторок. А живет он, скорей всего, в рядом расположенном небольшом казачьем городке.

Лето кончалось, пора было возвращаться в Москву. Гуляя по шумному областному, ни днем ни ночью не стихающему городу (и, в частности, по бывшей Воронцовской — ныне Коммунаров — улице), я нет-нет да и вспоминал этого самого З.

З., однако, на улице появлялся редко.

Но вот однажды — перед вечером — он вышел из своего дома с какой-то тарелкой, обвязанной под донцем белым платком. Что это тарелка, можно было догадаться по форме. От тарелки исходил пленительный творожный дух.

Загребая, как всегда, выкривленными верховой ездой ногами, З. стал спускаться вниз, в речной порт.

Я двинулся за ним.

Шестичасовой катер шел вниз по Днепру и тихо фыркал. Я сидел внутри, в трюме, лишь иногда подымаясь наверх, а ординарец махновский стоял на палубе. Жадно, как вынутая из воды рыба, глотал он речной,

секущий губы и нос воздух и ненасытным глазом, обведенным сплошным кровавым веком, косил на камыши.

На пристани казачьего городка я ординарца потерял.

На минуту заскочил в чайную выпить стакан вина, которое, боясь милицейской выволочки, продавец разливал из синего эмалированного чайника. За эту минуту ординарец исчез.

Куда он мог деться? Поехал в Малую Ардашинку на автобусе, пошел к кому-то в гости?

Выпив еще стакан «Ароматного» (так называли продавцы сорт крепленого, влитого в чайник вина), я про З. надолго забыл.

Вспомнился этот самый ординарец и его приятель (так мной и не виденный) лет через тринадцать-четынадцать, когда ни отца, ни ординарца — я это потом нарочно узнавал — на свете уже не было.

3

Дивная осень еще только разгоралась. В полях горками бурели неубранные помидоры, меж помидоров и рослого бурьяна проскакивали осмелевшие, словно знающие об отсутствии у охотников патронов и дробин, зайцы.

Стоял 1990 год, год народного крика и спеси, год тайных надежд, дикого бахвальства, высоких подъянок.

Уже давно продан был дедов дом, и никого из родственников в городке казачьем не осталось. Так что наезжал я туда в августе—сентябре безо всякой цели.

Сойдя в тот день на пристани и не зная, что бы такое вытворить, я стал гулять по причалам. Затем не торопясь, добрел до автобусной остановки.

— Слыхала? — брызгалась слюной одна баба над ухом у другой. — Слыхала, чего у нас в Малой Ардашинке творится? Ой, Галю, не знаю, как и рассказать тебе!

— Автобус же идет... там расскажешь.

Подошел автобус. Вместе с бабами влез в него и я. Народу было — битком. Стояли тесно, и я уже пожалел, что поехал, как вдруг опять услышал жаркий бабий шепот:

— В Ардашинке милиция с бандой якшается! Ну, времена! А людям — все равно! Хоть трава не расти. И писали уже куда следует, и все другое прочее... Не помогает. Власть районная своими делами занятая ходит. А до областной не докличешься...

Еще не кончился вытянутый в длину на многие километры казачий городок. Я твердо решил сойти. Сойти, вернуться на пристань да хоть в чайную...

Кто-то простеcki толкнул меня в спину. Я обернулся.

Бывший дедов сосед и дальний, как говорили, родственник, Юхим, которого я не видел лет двадцать и который давным-давно переселился из городка куда-то на хутора, радостно глядел мне в нос.

Присмотревшись, я понял: глаза у Юхима косят, поэтому кажется, смотрит он не в глаза собеседнику — в нос. Но в остальном вид у Юхима был бравый. Даже в потертой тужурке, какие носили когда-то речные шкипера и причальные матросы, и в холщевых бесформенных брюках — выглядел он хоть куда.

— Жинка у меня молодая, — перехватил Юхим мой взгляд. — От и держусь. А поехали ко мне? Вина молодого выпьем. Ты, говорят, в Москве теперь живешь. Расскажешь, чего и как. А то у нас телевизор погано показывает. Пески, глушь... А завтра — назад. А?

Юхимов дом, или, как он говорил, хата, стоял в середине небольшого, в две улицы, хутора.

— Столыпин нас сюда загнал, — радостно признавался в чем-то давнем и словно бы запретном Юхим. — С той поры и живем тут. Совсем от мира отбились. Пойдем в беседку. Счас жинка вернется, вечерять будем.

Жинка Юхимова оказалась красавицей. Вернее, была когда-то таковой. Хотя и сейчас — а было ей за сорок — выглядела великолепно. Высокого роста, прямая, в меру бокастая, без бабьего колыхающегося на ходу живота. Одета — в модную узкую юбку и в серый, с крупными пуговицами жакет, без всякой блузки под ним. Глядела Василина с веселой печалинкой, чуть подымая уголки губ. При этом точеный греческий нос ее на смугловатом удлиннном лице заметно бледнел.

Что в Василине Юрьевне было немодным — так это заплетенная и уложенная короной, по моде 50-х годов прошлого века, темно-каштановая коса. Про меня Василина слыхом не слыхала и вообще Юхимовых родственников не любила.

— От них мы сюда и сбежали, — строго выговаривала она мужу, ставляя на столе огурцы, помидоры, холодные вареники. — От родственников твоих, жадных да загребущих.

— Брось, Василина. Он же с Москвы... Да и не родственник он тем, про кого ты думаешь. Он Ивана Епифановича внук...

— Москва? Ну, Москва нам, может, еще и согдится, — сказала Василина, но в голосе ее было больше подкальывающей неприязни, чем надежды на отдаляющуюся от казачьих хуторов все стремительней, все бесповоротней Белокаменную.

— Ладно, пойду взвару принесу.

Когда Василина ушла, Юхим-дед почесал за ухом, потом, смущенно и досадливо отгоняя от лица комарье, сказал:

— Оно и верно. Я сразу, как тебя увидел, подумал: согдишься! Банда тут у нас завелась. Банда! Прямо как в Гражданскую. Перемену власти почували. От и разгулялись по хуторам — не приведи господь. И главное дело — нагло так бесчинствуют. Одного поймали — ларек обчистил, — так он прямо в лицо всем крикнул: «Меня завтра выпустят, а вам голову снимут».

Так оно и вышло! Отпустили его. Милиция — и районная, и областная — за них. Приезжал тут один майор из области. Пил самогон у соседей, хвалился. «Колхозам, — говорил, — конец, землю перераспределять будем. Собственник, — говорил, — другой нынче явится. И хутор ваш теперь ему отойдет. А вас, дураков, на принудительные работы, в Ханты-Мансийский автономный округ!»

Я неопределенно хмыкнул.

— Так ты, племяш, письмо-то возьми. В Москве главномилицейскому начальству передай. Мы хоть в колхозе никогда и не были, даже и на дух он нам был невыносим, а только банду надо гнать отсюда. Так передашь?

— А чего ж? — Я не слишком-то верил в банду, равно как и в проданную-купленную милицию.

Над хатой Юхима засветилась волшебная, только в песках отдающая настоящим, словно выкопанным из земли, черноватым, а потому и не фальшивым золотом, луна. Опрокинутое ввысь глубокое небо с первой звездой чуть покачивало себя над песками. Резвое, еще бродящее молодое вино щекотало язык, губы. Где-то над казачьим ериком (отводом от Днепра, вырытым еще в XVIII веке для рыбалки и войсковых потех казацкой голотой) покрикивали вечерние птицы. Не жизнь — рай. И холодок песков, тянувшийся от редких акаций и далеких сосен, это ощущение только усиливал.

— Василина! А ну ходь сюды.

Василина не отозвалась.

— Счас письмо принести заставлю! А то выпьем — забудем. Василина! Та куда ж она подевалась?

Юхим-дед вылез из-за стола, и на лице его вмиг проступила растерянность и обида. Вскоре они сменились гадливостью и слюнявой злобой.

— Опять, сука, к Гнашке побегла! Опять! А ну пошли со мной! Выкурим ее оттуда.

— Что за Гнашка такой? — спросил я, сам не зная зачем.

— Гнашка? — Юхим-дед от досады слегка даже приостановился. — Та живорез тут один. Ему за восемьдесят, а он все баб подманивает. А одну так даже зарезал вроде. Только не смогли доказать. Годков пятнадцать тому назад... Ну, сука, ну если она только у махновца у этого!

Тут приостановился я.

— Так Гнашка — махновец?

— Ну! Я ж тебе о чем толкую! Двадцать пять лет отсидел, вернулся, с тех пор живет бирюк бирюком. Только пчелы и виноградник. Да еще эти... Корни он режет. Фигуры делает. Красивые они, а только страшные. Ежели ночью увидишь — обделаешься. А что сильный и жилистый, как коряга, — то правда, то не отнять у него. На бойню бычков вести — до сих пор его кличут. Тут у нас бойня недалече. Так он всегда прямо перед бойней, для смеха, бычка и заваливает. Даст кулаком меж рог — бычок на землю без памяти. А Гнашка нож из-за халявы вынет, по шее бычка как полоснет! Убойщикам опосля его делать нечего. А он еще, подлец, нагнется, палец в порез окунет — а полосует он тонко, — кровь понюхает. И аж судорога ему делается. Так хочется бычьей кровушки попробовать. Да не пьет чего-то... Идем быстрее!

Юхим-дед зашлепал босыми ногами по ласковой, осенней, в прах перетертой пыли к калитке, чуть не силой таща меня за собой.

У калитки я все-таки остановил его, спросил: не приезжал ли сюда З., бывший ординарец или, как некоторые считали, адъютант Нестора Махно?

Юхим отвечал утвердительно, но отвечал неохотно: мысленно он уже был в Гнашкиной хате.

— Ну, сука, ну ежели она там!

Сухо кашлянул в песках выстрел. За ним второй, третий.

— Банда! Банда... — Юхим-дед даже присел от страха. Потом заматался, кинулся вперед, назад...

Однако любовь пересилила страх, и уже через минуту он вернулся из дому со старинным, тонко окованным, украшенным по прикладу резьбой ружьем. Под луной, под звездами узоры на ружье были приметны: тихо

поигрывали изгибами, жили таинственной, отдельной от собственного смысла — убивать и калечить — жизнью...

— А ну быстро за мной, сейчас мы этого Гнашку проверим!

Так, на полусогнутых, Юхим и кинулся в конец длинной песчаной улицы, в противоположную от выстрелов сторону.

В конце улицы был небольшой заулочек, тупик. Во дворе приземистого, крытого шифером дома горел свет.

На скамейке под деревом сидел Пан.

Крутолобий, с курчавящимися седыми висками, лысый, громадный! Точно такой, каким сработал его когда-то давно на всем известном полотно прихотливый и нежный художник.

Перед Паном на столике стоял полуторалитровый графин, а сам он громко смоктал из сот каплюющей на рубаху мед. Ни выстрелы, ни другие подробности окружающей жизни его, видно, не беспокоили.

Юхим-дед в нерешительности остановился, опустил ружье прикладом на босую ступню. Я хотел было уже толкнуть его в спину: зайдем, мол! (Уж очень хотелось поближе взглянуть на коричневатое, словно покрытое акациевой корой лицо, услышать голос Пана: наверняка тяжкий, низкий.)

Но тут за поворотом, на главной улице раздалось озабоченное покашливание, Юхим-дед оглянулся, увидел куда-то поспешающую Василину, и мы не сговариваясь кинулись к ней.

— Иде это ты была?

— Тю! А ты за чем батьково ружье вынул? Оно ж не стреляет.

— У меня стрельнет. У меня курица петухом запоет! Ты иде была, спрашиваю?

— Тихо ты. — Василина враз посуровшала. — Давайте быстро до хаты! В конторе я была, милицию вызвала. Приедут, сказали.

— Точно? — Юхим-дед недоверчиво вскинул вверх седые бровки.

— Точней не бывает. Нового лейтенанта в район прислали. Выехал он уже. Хватит нам банды этой! Наведет он, я чую, порядок. Молодой! А? То-то! — тихо засмеялась Василина и наступила Юхиму на босую ногу. — Эх, Юшка! — крикнула она. — Давно б я тебя, дурака, на молодого сменяла, да Бог не велит.

Василина легонько потрепала Юхимовы волосы.

Я отвернулся, стал смотреть на Гнашкину хату.

Двор и беседка с главной улицы хутора были видны плохо. Зато хорошо просматривались ворота с калиткой. Ворота висели на двух мощных деревянных столбах.

В один из столбов была вплетена длинная лешачья борода, над бородой поигрывала электрическими искорками лукавая толстая морда. Второй столб обвивали две чуть изогнутые в спинах русалки. Русалки, глядя друг на друга, плотоядно улыбались, сплетались хвостами.

— Сладко режет, — сказала Василина, заметив, что я все никак не оторвусь от Гнашкиных ворот. — Живо режет, весело! После резанья этого все вокруг вроде живым становится.

— Одно слово — живорез! — Юхим-дед от слова этого даже слегка подпрыгнул на месте. — Сперва дерево режет, потом — людей!

Хулиганом я родился
И хожу как живорез.
Когда меня мать рожала,
Я и то с наганом лез! —

это ж про него сказано!

— Эх, Юшка, — вздохнула с сожалением Василина. — Ничего-то ты в жизни, дед, не понял. Да если русский мужик и зарежет кого — так ведь художественно зарежет. И за дело. Он ведь — ежели он по-настоящему русский мужик — и в убийстве рисовальщик, и в убийстве сладкий резальщик! Не забойщик с мясокомбинату, как ты!

— Русский, русский, — недовольно шмыгнул носом Юхим-дед. — Я и сам небось русский.

— Русский, да не такой. Чего скачешь? Тут тебе не Польский сейм. Черноморская Русь тут!

— А ты слышала небось? Тех, кто по-русски балакает, скоро ножичком у нас тут чик-чик — и готово! Так что не гавкай много про это.

— Ой, ну за что я тебя, дурня, люблю, так это за твою серость! Кто ж им, бандэрам этим, позволит тут русских, а стало быть и евреев, а стало быть и крымчаков, — резать? А ну айда до хаты! — крикнула, сердчая, Василина и крепко взяла меня под руку. При этом так тесно прижалась бедром, что кинуло в жар.

«Этого только не хватало», — подумал я.

— Милиция приедет, все чисто разберет, — уже помягче добавила она. После трех стаканов вина заснул я быстро, заснул крепко.

А проснулся оттого, что Василина трясла меня тихонько за плечо. В окна вползал рассвет.

«Ага, начинается», — подумал я про себя и попытался зажмурить глаза сильней.

— Вставай, гостюшка, — зашептала Василина. В голосе ее слышались слезы. — Вставай! Милиционера убили, мотоцикл его пропал. В кучугурах всю ночь стреляли...

4

Юхим-дед со старинным ружьем наперевес гордо вышагивал по главной хуторской улице. Тратить на меня внимания он поначалу не хотел. Потом спохватился, подошел, влез губами в самое ухо, зашипел озабоченно:

— Писссьмо не посеял?

Я похлопал себя по карману.

— То-то жа, гляди мне!

Кто тихим скоком, кто старушечьим мелким шагом — собирался народ близ Гнашкиной хаты.

— Ах, живорез! Ах, живорез проклятый! — не унимался Юхим-дед. — Что наделал, что натворил...

Ближе всех к резным воротам стояла женщина в сиреновом платочке, брошенном поверх кофты. Войти внутрь она боялась. Правда, и от калитки было видно: лейтенант милиции полулежит на лавке у стола, лицом к воротам. Один погон надорван, над правым глазом — черная крохотная дыра.

Мы с Юхимом крадучись подошли ближе.

— Ничего не трогай! — крикнул дед, вода по моим ногам ружейным дулом. — Я сам тут покараулю, пока милиция прибудет.

Я оглядел полулежащего на лавке внимательней.

Тонкий, с едва проступившими и уже подсохшими капельками крови надрез тянулся по шее от уха до уха!

Я перевел взгляд на стол. Ни медовых сот, ни полуторалитровой бутылки на столе уже не было. Стоял только недопитый стакан с красным вином. Едва переступая набитыми ватой ногами, пошел я к столу, наклонился, втянул в себя витающий над столом дух.

Кровь... В стакане была кровь!

«Пей! — взвизгнул во мне кто-то булькающим и вином и кровью голосом. То ли голосом красного изверга Саенко, то ли самого атамана Григорьева. — Пей, сука!»

Не помня себя, протянул я руку к стакану.

— А ну пошел отсюда! Убью! — крикнул, заводясь, Юхим-дед.

Я сделал неловкое движение рукой, зацепил стакан рукавом городско-го, летнего, здесь, на хуторе, ни к чему не годного пиджака.

Задетый стакан глухо стукнул о стол, покатился. Кровь разлилась, стала медленно впитываться в грушевую столешницу.

Стремительно пошел я со двора прочь.

По дороге встретилась мне Василина.

— Ты езжай, гостюшка, отсюда, езжай. Тут тебе не Москва! Затаскают по милициям. Сначала ты свидетель, потом подозреваемый, потом — пятое, десятое. Езжай, да сердца на нас не держи... Счас военные придут. Дорогу они на несколько часов перекроют. Мотоцикл-то, главное дело, пропал. А с ним — Гнашка! Неужто он? Ох, не верится мне! Банду эту нынешнюю он и на дух не выносил. Жуками-навозниками звал их.

— Он же сам бандитом был...

— Так то когда было. А что кровь, поговаривали, пил, так это для того, чтоб сердце каменным стало. С каменным-то сердцем, племяш, в нашей жизни куда как легче... Да и не бандит он был вовсе! Анархист был идейный. Чтоб, значит, никакой власти вокруг. Оно и правда: где власть, там напасть. Езжай, езжай, гостюшка, дай я тебя на прощанье поцелую, навряд свидимся...

Уехал я на рейсовом автобусе. По дороге, почти у казачьей пристани, чуть в стороне от нее, видел брошенный милицейский «Урал» с коляской и людей вокруг. Один был в офицерской, но не милицейской, военной форме.

День разгорался тускло-яркий, чуть подслеповатый, с легкими звериными облачками, туповато, по-бараньи оскаленными...

5

Две недели отсиживался Гнашка в кучугурах.

Как высохшие и выветренные суховеями души над песком, стояли над ним фосфорические воспоминания. Жизнь, давно набрыдшая, после выпитой крови вдруг заходила в нем ходуном. К бабам Гнашка в последние годы не льнул, жалел их. Обходился скотиной: бархат, шелк, грубо волнующая длина вздрагивающего от хвоста до ушей тела... А может, и потому не льнул, что любил в последние двадцать лет одну Василину.

Он сидел меж двух песчаных горбов, рядом с камышовым, ловко и быстро поставленным куренем, резал корень. Корень был ивовый, неподатливый. Но Гнашка резал и резал его.

«Живую душу режу, — наговаривал на себя Гнашка. — Сею, вею, посеваю. Режу, режу, оживляю... И чем больше режу — тем слаще в ей, в душе, жизнь обозначается... А кровь... Она ведь и в дереве струит себя: синяя, зеленая! Выпил крови деревянной — и готов, и никакой другой тебе больше не надо. Видно, заместо людей дерево мне во владение отдано. Его буду резать!»

Воспоминания о Гражданской войне девятнадцатого года, анархия и Черноморская Русь, вечное их соединение и рассоединение, а потом размышления о жизни теперешней — причудливо мешались, вызывали то сосущую тошноту, то улыбку.

Так, мнилса ему коротконогий Нестор Махно, обнимающий красавицу Василину. Мнился и красный изверг Саенко, заводящий белотелую Варьку уже за здешнюю, ардашинскую хату. Мнился и сам теперешний хутор, облепленный жуками-навозниками, замученный подлой бандой, бьющей и режущей всех подряд, убившей и молоденького лейтенанта, у которого Гнашка потом выпил чуток крови, бьющей не за анархию, не за красивую мысль-мечту — за кусок жира и падали.

А потом опять мнилась Василина. Вспоминал, как отказала, как жадно глядела на его руки, режущие корень, как, подойдя, быстро и мучительно поцеловала в губы, сказав при этом:

— Это тебе всё. Юхим помрет — тогда остальное...

Гнашка сидел в песках, поджав ноги, по-турецки. Осеннее дикое солнце нещадно палило голый лоб. Дрожь телесной земли доходила до рук, до горла. От прилива сил и от пригубленной крови, не боясь быть подслушанным ни людьми, ни дьяволом, он стал говорить вслух.

Тихим шелестом отвечал ему песок.

«Отчего это Нестор Иваныча у нас до сей поры добром поминают? А батьку Григорьева, так того — злом? А оттого, Гнат Северинович, что народ справедливост и в анархии любит. Отдаление от начальства любит. То есть супротив любой надоевшей за сотни годков власти люди наши готовы встать. Власть — что она за чудо? Что она такое есть, когда она настоящая? А есть власть — отказ от всякой власти. И потому — великое она и священное дело. А какая тут — за последние сто лет, к примеру, —

святость? И при Николае ее не было. При Ленине-Хрущеве-Андропове — подавно. А при нынешних — так и совсем опозоренная под тыном валяется...

Одна только и была власть священная, власть, Богом данная, — при Черноморской Руси. Только мало та Русь стояла. А теперь... Чинодралы власть языком перетирают. Бабы непристойные — как те причиндали мужичьи — мнут ее. Бабы-то эти с чиновниками — любую власть продадут. А нет того, чтоб таким бабам, как Василина, власть отписать: не гуляющим, не расторговавшимся обманно...»

Вспомнив про Василину, Гнашка встал, отбросил в сердцах корень подалше. С него градом катил пот, белая рубашка за несколько дней почернела от фосфора и соли. Не замечая ни жары, ни пота, он зашел в курень, выдернул оттуда — как соломинку из скирды — двустволку, завалил курень на землю ударом кулака и пошел, посмеиваясь от внезапной догадки, на хутор.

Он шел по хутору, и люди прятались от него, как когда-то жители днепровского городка от красного командира Саенко. Он шел, и ему было легко и просторно жить. Легко потому, что он вдруг понял, откуда приходит и куда девается пьющая и торгующая, о священстве власти и священном безначалии вовсе не помышляющая банда.

«В этой самой сельской раде они и засели. В ей!.. Ну — грех воровать, да нельзя миновать!»

Гнашка зашел в каменный, лучший на хуторе дом и, увидев брюхастого, жирнощекоего майора милиции, сладко, по-женски обнимающего молоденького председателя Рады, выстрелил, уложив одной пулей обоих. А выбежавшего из внутренних комнат незнакомого человека с «калашом» в руках — другой.

Потом, бросив ружье, вынул из кармана складной нож. Подойдя к молоденькому, еще живому председателю Рады, хотел полоснуть его по шее, попить крови, но в последнюю секунду — раздумал.

Ясная ясность стояла у него перед глазами. А тошниловка, вся до капли, ушла.

«Хватит крови. Буде, напился. Да и не поможет она, кровь запроданца...» — решил Гнашка и подался из каменного дома вон.

В дверях столкнулся он с Василиной. Заметившая его еще с противоположного конца улицы — она охнула, вцепилась в разодранный рукав, стала оседать вниз.

— Позовешь, когда час подойдет. Я тут, недалеко, в плавнях презимую, — сказал Гнашка, бережно отстраняя от себя бледнеющую все больше и больше Василину.

— Убьют тебя, Гнашка, — шепнула вдогон и в сорок лет глядящая на мир восторженно и нежно женщина.

— Убьют? Да ни в жизнь! Я ж бессмертный. Без меня, кровососа, некому из жизни правду вырезать будет...

Тихо-проворно, как желто-серебристый полоз с темными на спине пятнами, скользнул Гнашка из хутора в камыши.

6

«...Даже и не могу тебе передать, чего тут сквозь нас пролетело, — писал Юхим-дед год спустя, в отправленном обычной почтой и добиравшемся до Москвы больше полутора месяцев письме. — Прямо тайная война какая-то. Война и свара. Но главное дело не в войне. Война — всегда была. Главное — кто и как творит эту войну!.. Ну а про наши дела хуторские... Права была Василина-покойница. Русский мужик — он и зарежет художественно. Так и Гнашка, Игнат Северинович. Один он всю ту банду кончил. Потом дело его разобрали, объявили — самооборона. А что кровушки милиционной (при тебе еще) выпил — то правда. Так ведь милиционер, какого ты на Гнашкиной лавке видел, мертвый уже был! Банда его убила и в Гнашкин двор перетащила, чтоб, значит, на живореза сомнение навести. Ну от кровушки Гнашка, стало быть, выпил, окреп. А через три дня всю банду, что тогда в Раде собралась, и порешил

А сам пропал. В Сибирь вроде опять подался. Здоровья-то в нем — огого! Да и кровушки попил не однажды, это верно. Теперь, люди калякают, бессмертным от той кровушки стал. Как Нестор Махно или даже как сам царь Николай Романов. И гуляет себе ныне Гнашка на Иртыше! Говорят, в Тобольском видали его. Стоит в рубахе у собора, на паперти, и всю дорогу одно шепчет: “Грех воровать — да нельзя миновать”... Сюда б его, к нам! Потому как что у нас пришлые люди творят — не приведи господь», — писал обезумевший от горя Юхим.

«А корни Гнашкины вырезные я с ворот его снял. У себя дома приспособил. Скучно мне без Василины-покойницы. Даром не верил я ей. А теперь померла — так верю... Приезжай, племяш. Хоть ты и троюродный, а

приезжай. Духу казачьего степного тут совсем не слышать. Люди все больше с Карпат: дикие, скупые...»

С горечью и досадой отодвинул я от себя письмо.

Показалось: никогда мне этих новороссийских мест, этих Алешковских песков, этих навсегда отъятых степей, пропитанных желчью и потом южно-русских и украинских казаков, орловских мужиков и молокан воронежских, — не увидеть. Не увидеть и хаты живореза, отданной, как писал Юхим, внаем, приедем из Самбора. Не увидеть сплетающихся хвостами то ли для запретной любви, то ли для неземного вечного пения русалок.

А если и доведется попасть в те места, то в Малую Ардашинку навряд заверну: и боязно, и досадно, и от запаха крови мутит...

7

Я закрыл глаза.

Смутный, полупрозрачный, с едва проступающими гранями веков и времен, стоял перед глазами, позванивал, дымился — как громадный, кем-то ополовиненный стакан человеческой крови — заносимый забвением и песками русский юг.

БАНДЖО И САКС

«Ах, зачем эта ночь!

Так была коротка...

Ах, зачем, зачем, зачем... И главное: почему? И... и... и...»

Нет, никогда они не были лабухами! Ну а жмуриками и подавно ни за что не станут. На похоронах стукать и дуть — последнее дело. Но и в кабаке садиться — тоже не фонтан. Остается что? То и остается, что теперь есть.

Так говорили они между собой всегда, когда хотели взбодриться, завестись. Так говорили и тогда, когда завод кончался, вываливался и повисал, как виснет вялая пружина из сломанных часов или как в больнице выставляется из-под одеяла старая чья-то, морщенная мошонка. Так разговаривали они всегда, когда вообще о чем-то говорили. Но чаще слов даром не тратили, переругивались меж собой гудками саксофонными и стукотней банджовой, кусочками, мотивами песенок перекликались:

«Ах, зачем эта ночь?» —

«Yesterday...» —

«Кондуктор, не спеши!» —

«Миллион, миллион! Мил-ли-он?.. Или два?

Из окна, из окна, из окна видишь ты».

Они были «вагонные». Словечко это само выскочило, словно прутик из ивовой корзины, само навернулось на язык, само вплелось в жизнь, въелось в подушечки пальцев, даже в кожаные футляры инструментов, кажется, впиталось. Сначала помимо «вагона» они продолжали играть в своем бэнде, в оркестре. Но потом вагон из них все желания, все самолюбие (не слишком, правда, и великое), все мягонькое чванство повытрясало. На оркестр сил не осталось. Не осталось их даже на имена.

- Сакс?
- Тут я, Банжонок.
- Где ты, дурила?
- Здесь, Банжонок, за мешками...
- Хорошо б и спать нам вместе в таком вагончике. А, чудила, а, Сакс?
- Голубой я тебе, что ли?
- Ну, станешь.
- На хрен нужно, скажем дружно...
- На хрен, не на хрен, а пассивным станешь...
- Пошел ты, Банжонок... Открывай дверь, начинаем!

Начинали они всегда с одной и той же: низко-хрипло, как брошенная женщина, как пропойца кающийся, выводил Сакс «Опустела без тебя земля». Слушатели, на взгляд Банжонка, шедшего всегда сзади и игрой не слишком занятого, отпадали сразу. Затем давали «Московские окна». Здесь уже бежали, как барашки по небу, по вагону улыбки. Потом сразу — «Осенние листья». И вагон был убит, побежден, растерзан. Прорыхлен был и был возделан. Приходила пора снимать урожай...

Странный они были дуэт, но классный. Что-то необычное слышалось в их музыке, какая-то пряная смесь корицы и льда, Африки, средней России, Белого моря, крымских шипучих вин... Другие как? Поиграли недельку — и разбежались. Чуть подгрести бабок — и в контору или еще куда, хоть домой, в нору. А они — нет. Нет — потому что играли они как звери и давали им много.

Так и шло: тумба Банжонок — кистеперый Сакс, резвые аккордики — ополоумевшая и охрипшая от любовного томления чудесная «дудка»; бочковатый барабан и золотая нить, прошившая его, — пальцы короткие, хитрющие, губы наглые, жестковато-ласкательные. Летом взახлеб принимались «ньюорлеашки». Были полны они нездешнего гонора и грубовато-визгливой печали. Летом такая печаль оказывалась очень к месту. А осенью хорошо проглатывались «совки»: «Москва майская», те же «Московские окна», «Эх, путь-дорожка фронтовая». Вещицы эти снимали налет осеннего сплина с лиц, как паутину. Зимой же хорошо продавалось все русское, но перелицованное на чужой лад: «Ехал на ярмарку ухарь-купец», что-то еще в том же роде. Здесь у Сакса получалось хуже, и Банжонок ликовал, при игре подпрыгивал, обкручивал банджо вокруг руки и, как сторож деревенский, покрывал. Потому и звал иногда Сакс Банжонка: «бублик с балабайкой». И еще звал непонятно, звал вроде музыкально, но

вроде и нет: «субпассионарий». На «субпассионария» Банжонок обижался, но не вусмерть, не навсегда, быстро отходил.

Нынешняя осень обильной была. Но за осенью встала ледяною горкой зима. Электрички зимой теперь почти не отапливались, губы и пальцы иногда немели, надо было с поездов слезать, возвращаться в оркестр. Их еще, пожалуй, взяли бы, они же не лабухи, классные ансамблисты, два года назад прошли-проехали вместе с оркестром пол-Германии! Но... Зима навалилась, началось зимнее непонятное верченье-круженье-сованье: взад-вперед, как пурга, вниз-вверх, как усталая любовь, когда забываешь, зачем любишь, а только движешься, движешься туда-обратно, туда-обратно. И ни конца ни краю этому движению. Они не понимали, кто их так кружит, кто волоком тащит по сверкающим россыпью снегам, кто кидает из тамбура в тамбур, кто оттопыривает карманы полшубков, кто, кто, кто...

Первым понял Сакс. «В стиле рашен-фолк», — коротко и непонятно объяснил он. Но здесь и Банжонок понял. Да и чего тут не понять! Допились, доигрались! Теперь бело-зеленая маета из лап не выпустит. Оттого-то в глазах у них — одни сумки, кудельки, воротники, перстни на пальцах, шубы, телогрейки, капли смеха на усах, капли гнева на щечках, снова сумочки, сумки, рюкзащицы, высланные бархатом изнутри атташе-кейсы.

Они не могли отлепиться от всего этого, не могли соскочить, как с подножки поезда, не могли вывалиться из своего продолговато-овально-го, белого в зеленую крапинку транса.

— Банжонок, а что такое Святки? Только точно мне, точно! В общих чертах я и без тебя, дурака, знаю, — пролаял поутру как-то Сакс, выдираясь с футляром из дверей квартирki своей, в которой жили они теперь вдвоем, резко турнув бывшую Саксову сожительницу, какую-то михрютку.

— Я тебе че, поп? Откуда мне знать-то?

— Мне сволочь одна вчера сказала. Святки, мол, а вы лажу играете. Вот я тебя, бублик, и спрашиваю...

— Ну, точно не знаю. Может, че святое. У Чайковского есть. Хочешь, сегодня эти Петенькины слезы сбцаем?

— Не... Никто и не вспомнит, что мы какие-то там чайковские «Святки» играем. Я не про то... Я вот чего: ну Святки, ну и что? Мы себе играем! Хотим лажу — хотим другое... И плевать нам на все...

Последний день Святков распечатали они сочно, со вкусом, с хрустом. Вскочили в богатую электричку с туристами, шедшую с Ярославского на Сергиев. Музыка всем и по-настоящему нравилась, в поезде было оживленно, нищих было мало, они не путались, как повелось в последнее время, под ногами, не забегали вперед, не слизывали жадными нечистыми языками нежно витавшую в вагоне пенку человечесей гордыни и спеси.

«Ах, Банджо! И Сакс — ах!» Тосковала, хохотала, затем тосковала вновь и рвала сама себе сердце музыка. «На хрена тянете на себя, как душное одеяло на голову, веселье это!» Или наоборот: «На хрена со своей музыкой в снега эти, в снования эти беспрестанные вниз головой летите?»

Но они не слушали, что говорит им собственная музыка, ноги несли и несли их вперед, дальше, быстрее. Они словно убежали от чего-то: от грозящей ясности, от смыслов, от помысла...

Сакс был нервный, гордый. Банжонок — лапоть колупаев. Сакс был высокий, в дугу гнутый. Банжонок неровноглазый, редкозубый, низкорослый желтоволосик был, как квашня широкий. У Сакса была бархатная буроватая бородка, он ее мыльной пеной тер и никому до нее и пальцем дотронуться не разрешил бы. У Банжонка — отвислый второй подбородок шелковый, и он всякому встречному-поперечному давал подбородок этот пощупать. Характеры не сходились, а вот музыка, сдвоенная, смешанная, словно пиво с водочкой, многих с ума сводила.

В тот день их «подняла» приличная компания. Ну, это были, понятно, не сами новые русские, те в электричках не ездят, а так, ребята с деньгами. Но приличные. Не пошли бы ни Сакс, ни Банжонок ни с какой рванью.

— Играете до вечера, бабки тогда же, — тихо, но твердо сказано было им.

Игра получилась ничего себе. Играли на какой-то двухэтажной деревянной даче, было тепло, и звучало в небольшой комнате с красной мебелью как надо. Но потом ребята эти денежные стали их дразнить. И Саксу это было неприятно, потому что ребята цепляли то, что его и так давно мучило. А мучило его многое: мучило то, что Банжонок часто придает своей лопате с веревками слишком большое значение, словно может на ней играть один, без него, Сакса; мучила неопределенность, мучили задорные крики Банжонка, его уверенность безграмотная во всем, во всем... Надо было партнера менять или в другой оркестр возвращаться. Ни на то ни на другое сил у Сакса не было, и оставалось одно: нервничать, надрываться душой, грызть самого себя. Потому что грызть Банжонка было

бесполезно: эта дубина короткопалая никаких «грызений» не почувствовала бы. А тут — денежные эти ребята на дровяной даче. Что они, не могли себе на свои зеленые дачу каменную снять? Холодно, холодно! Или тепло, но как-то зябко...

Зябко и неуютно делалось Саксу от их передразниваний. Так зябко, что, пожалуй, и на улице под елками лучше. Сакс приехал издалека, и хотя приехал давно, к морозам все никак привыкнуть не мог. А Банжонок был местный, тутошний. Ну, не совсем местный, а какой-то пензенско-вологодский, какой точно — Сакс не знал.

Ребята денежные все дразнились и дразнились. После каждой вещи кто-нибудь из них отзывал Сакса в сторону, и он так вместе с «дудкой» и шел, каждый раз надеясь, что дадут зеленую и он спрячет ее в раструб, чтобы этот бочонок не прознал, не заметил. Но они как сговорились, и все твердили: «Ты мастер, ты Сакс, ты ведешь, а он только выделяется, поддукивает только...» Или, может, это Саксу только казалось, что они говорят так. Может, может... Принял он хорошо, принял, как давно не принимал; пил он, конечно, и раньше, но только после игры на холоде. Таким макарком, маленькими глотками, пить научили его давно. Так он всегда и принимал. А иначе нельзя: еще студентом Гнесинки «отдул» себе Сакс левое легкое.

Но сегодня ребята денежные завели его как следует и он выпил какой-то бурды. И от этой бурды красной все перед глазами его полилоVELO. Пора было кончать. Но он все играл-надрывался, и именно этот призвук надрыва и нравился. И хотя давно надо было сменить трость, надо было вылить слюну из раструба, потому что слюна булакала уже и хрипела, он не останавливался, зло лишь и коротко кивая Банжонку: давай, давай!

Банжонок посматривал на Сакса с беспокойством. Чудила! Ребята нормальные, ничего такого не требуют, не надо под стульями кукарекать, не надо в подпол лезть, ну сыграли, ну отдохни, никто тебя за губу не тянет. Нет, дует, талантишко свой показывает. Нашел, где показывать! Хотя верно, играет Сакс — не снилось никому. А на поезда со зла пошел. А может, от болезни. Даже ему, Банжонку, и то не в честь здесь. А уж Саксу-то — подавно! И че он в электричках околачивается? Надо его, дурака, к доктору отправить, нажимал про себя на «о» Банжонок, надо, да ведь не пойдет. Скажет: я сам свое легкое знаю, нечего мне к моллюскам этим ходить. Моллюски... Придумает тоже...

«Кончать надо с этим козлом по дачам тилипаться. Другого надо, другого! Чтобы сек, кто с ним играет, кто музыку свою на этих ублюдков тратит, чтоб понимал: вот дотратит он свое, доиграет этот квадрат, эти шестнадцать тактов — и только тогда все! Потому что и жизнь — как вещь музыкальная: недоиграл, недоимпровизнул до конца — пиши пропало! Поэтому до конца, до конца тянуть песку надо! А потом — весна. Потом — тепло! Потом пьеска новая сочинится: юг, море, масло оливковое ковшами на грудь. Нет, только поглядите на дурачка этого — сбегал на вешалку, перчатки с обрезанными пальцами принес. Ему холодно! Да его в погребке оставь — ничего с его пальцами, с его сучками обкусанными не станется. Или станется? Может, станется, а?..»

Ребята денежные оказались совсем не дерьмом. Увидели, что наклюкались Сакс с Банжонком или от тепла развезло их, дали провожатого, денег дали, отпустили с миром. Денег дали, правда, чуть поменьше, чем обещали, но все равно прилично. «За талант заплатили», так и сказали. Ясно за чей! Но деньги-то все одно на двоих. А провожатый довез их до Лосинки и слинял, дальше не пошел, хотя ребята денежные наказывали ему до самого дома лабухов проводить.

— Где, парни, живете?

— На Лосе, рядом...

— Ну, топайте дальше сами.

Не потопали, потому что Сакс решил сыграть еще. Бурда ходила, взрывалась, шипела в нем. Бурда плясала и похикикивала в кишках у Банжонка. Они зашли в вагон, сыграли одну только вещь и тут же вывалились обратно. Играть было тяжело, подкатывала к горлу блевотина, голову сносило с плеч долой, и она — громыхая, повизгивая — катилась по вагонному настилу и затем, вздрагивая, замирала где-то в стороне, отдельно от тела. Дрожали руки, трепетали у самого, казалось, горла, предсердия...

Идти домой Сакс не хотел. Верней, не хотел вести домой к себе Банжонка, но сказать ему об этом даже во хмелю не мог.

«Хватит, — решил Сакс, — хватит! Пора отвадить его!»

Он стал поить Банжонка из бутылки, которую сунули ребята денежные в карман его полушубка. Банжонк пил, но пьянел слабо. «Надо завести его подальше и там оставить. А сам поеду к этой... к михрютке. Там он не найдет, отлипнет... А я прямо завтра в оркестр сяду. Без него... Со стукалкой этой погонят, а одного — возьмут... Ну а сам, без меня, он туда не сунется».

Банжонок снова выпил. Но на ногах пока стоял твердо. И тогда Сакс пообещал поставить Банжонку что надо.

— Пошли туда, к окружной! Видишь, сарай!

— Че туда, дурила? Домой к тебе пошли! Че ж ты раньше не сказал, я б не пил...

— Не... Дома не. Не хочу... В сарай пошли...

Банжонок в сердцах Саксову бутылку почти до дна дососал, его враз зашатало, и он, чуть отдышавшись, стал на всю платформу орать: пошли, пошли! Петька ходил! Парней водил! Он кричал, подбрасывал вверх легкий кожаный футляр со своей стукалкой, сулил неведому кому:

— Выкину эту дуру! На балабашку (так называл он свою давно проданную балалайку) перейду! В Нижний вернусь! В оркестр народный сяду! А ты все будешь тут в вагонах дуть! Ну? Будешь? Говори? И сарай мне твой не нужен... Я не этот... я не...

— Пошли, пошли, — толкал его Сакс. Он знал, что Банжонок «делается», что никакой он не голубой, просто баб боится. — Это сегодня ты так поешь, а завтра опять как репей вопьешься...

В сарае этом, еще с лета примеченном и определенном Саксом совсем для других дел, они тоже сыграли. В сарае света не было, но наискосок из открытого гаража бил, выплескивался, трещал, а затем остывал на холоде белый, целокупный, не распадающийся на куски и мелкие осколки свет. Собственно, сыграл один Сакс, и сыграл только импровизацию из «Московских окон». Получилось не очень. Квадрат был нарушен. Сакс вышел на основную тему с опозданием в один такт. Это его еще больше растеребило. А Банжонок не играл. Он сел на ящик и тут же в две ноздри захрапел.

«Набрался-таки, сволочь, — думал Сакс. — Ладно... Во сне мы тебя как раз и достанем, пальчики тебе попортим... Придешь через денек: что я играть не могу, скажешь. Не можешь?! Да ты и всегда, Банжонок, не мог! Всегда! Это я, я тебя жалел! И что ты мне, холуй укороченный, ответишь? По морде слезы размажешь? Но я не пожалею. Нет!»

Сакс повалил спящего Банжонка на снег, отволоч его, и во сне крепко державшего футлярную ручку, чуть в сторону от бившего из гаража света. Там, в темноте, перевернул кое-как дрючок этот набок, содрал, задыхаясь от усилий, с левой руки Банжонка перчатку, уже не с обрезанными пальцами, а целую, и освободившуюся кисть руки воткнул по самое запястье в снег. Морозу было градусов пять-шесть. Но утром они слушали погоду. Погоду они слушали по несколько раз на день. Сверяли радиосвод-

ку со сводкой ТВ. Погода была их, как они говорили, «бзиком». На сегодняшний вечер обещали сильное похолодание, связывали это с каким-то праздником...

Сакс воткнул кисть Банжонкову поглубже. И снег вокруг кисти утрамбовал. Банжонок не шевельнулся: бурда ребяток денежных была с табачком, видно. Сакс посидел рядом с Банжонком на корточках, ни о чем не думая, потом сообразил: надо идти. Но вдруг захотелось возвратиться в сарай, переиграть импровиз из «Московских окон», выйти на тему без опоздания. Сакс вернулся и стал играть, и тут мороз дернул его когтями по левому легкому, а потом стал рвать легкое на части. Вскоре легкое онемело, биться и пульсировать перестало. Боясь вдохнуть, дрожащими руками, Сакс быстро разобрал и уложил свою чешскую альтушку в футляр. Футляр, мягко клацнув замками, захлопнулся. Сакс поднялся и, выстукая на цыпочках мимо лежащего в подпернувшемся сзади полушубке Банжонка, побрел к платформе.

«Сам-то небось не замерзнет. А пальчики — тью-тью...»

Сакс ускорил шаги, потом побежал, но тут же остановился. Резкая, рвущая надвое боль в легком возобновилась, стала нарастать, сделалась непреодолимой. В легком засвистела и захлопала огромная, с рваными краями дыра, онемение кончилось, наркоз и хмель, словно затычку из бочки, выбили из тела одним ловким ударом. Сидя, он все старался повернуться лицом к станции, но сделать этого не мог.

Из гаража выглянул маленький, седенький, в кудряшках и без шапки старичок, протер руки тряпкой, весело крикнул: «Помогайт фам?»

Сакс медленно покачал головой. Он не хотел ничьей помощи. Он хотел, чтобы легкое было здоровым. Он хотел в тепло, хотел играть, хотел выстроить как следует конец импровизации из «Московских окон». Но смог лишь — низко, тоскливо — что-то неясное прокричать.

От крика этого Банжонок и проснулся. Проснулся и сразу выдернул из снега левую ладонь. Тысячи коротких тупых игл, вколотых в пальцы, задрожали, заньгли, возились еще глубже. Банжонок увидел свою, содранную с руки перчатку и чуть вдалеке, в электрических сумерках ночи, сидящего на снегу Сакса. Сакс только что кончил орать. Банжонок встал на колени и начал оттирать левую кисть снегом. «Дык не отмерзнет... Ну пошутковал, ну пошутковал, дурила. А завтра — играть. Или хватит на завтра бабок-то?..»

Банжонок тер руку и тер, Сакс сидел и сидел.

«Че он сидит, дурак?»

Банжонок подхватил футляр с инструментом, пальцы левой руки поглубже засунул в рот, вжал в небо, в язык, и пошел, широко себя в стороны вышатаывая, к Саксу. Сакс на Банжонка не смотрел. Он сидел, выпучив глаза, как рак. Из рта его, дымя, текла тонюсенькая струйка темно-фиолетовой ночной крови.

Банжонка словно по голове лопатой ударили.

— Сакс, — тихо позвал он. — Дурила...

Тот не ответил.

Тогда Банжонок отскочил, зацепился ногой за футляр с чешской «дудкой», рванул бегом к станции.

«Скорую» ему! Я ему «скорую» — сюда... Или... Или не надо? Нет, вызову!»

Банжонок вернулся, схватил Сакса за воротник, потащил к станции, увидел, что саксофон остался, вернулся, привязал футляр шарфом к Саксову рукаву, потащил опять.

Сакс ничего не говорил, но все видел. Странно, искаженно, но видел.

Видел он. бежит Банжонок, голову пригнул. Пыхтит, как бочка! От боков его белый пар отходит, из ноздрей, из двух дырок, черный пар хлещет, сверху и из темечка бьет пар розовый. А он, Сакс, сидит на холме близ михрюткиного дома, и ничего ему от мороза не делается. Как будто не на снегу сидит, на песке. Тепло, ясно вокруг. И не муторно вовсе, не тяжело. И чем дальше, тем ему легче, воздушней... А этот бочонок! Кто бы видел эту харю раздутую, кто б башку эту дурью видел! Катится, пыхтит...

Сакс следил теперь за Банжоном доброжелательно. Без ненависти и без упрека следил. Следил, не зная, что умирает и умрет, если ему не помогут. Следил, не зная, что смотрит на смешно мятущегося человека уже не он сам, смотрит колеблющаяся, как тот пузырек газа на высолпленном языке — вправо-влево, туда-сюда, — смотрит его измочаленная, издерганная и для земной жизни уже не пригодная душа.

Банжонок медленно подвигался к станции.

Он бросал Сакса и возвращался к нему, бегал звонить и, не одолев даже половины пути до телефонной будки, катился по снегу назад.

— Брошу тебя, козла, брошу! — вопил Банжонок и тащил за собой Сакса, и все не мог дотащить его. Потому что станция не становилась ближе. Наоборот, отодвигалась, делалась в резких и медленных вспыш-

ках холода — словно видел он ее через стеклышки перевернутого наоборот бинокля — все отдаленней...

— Сакс, дурила! Бросить тебя? Бросить? А?

Сакс отвечать не хотел. И немота эта, как отмерзший на морозе кусок человеческого мяса, дотрагивалась до щек Банжонка неживой, наждачной кожей.

Из расширяющейся немоты наплывала на Сакса с Банжонком ночь. Падал на землю острый и сладостный холод. Становилось в воздухе льдисто. Аспидно-сизая ртуть разрывала градусники, скатывалась горошинами вниз и, прожигая снега, уходила в землю. А потом опять воспаряла в небо и там уже грохотала всласть громадными, едва ухватываемыми оком шарами. Радостно грохотала и грозно, кратко погромыхивала и раскатисто, и грозно опять.

Грохотала же зима так грозно оттого, что кончились вдруг хмельные Святки и стала спускаться на сияющие электрическим блеском престолы Москвы, на ее холмы и купели ночь ясная, ночь кристальная и строгая: ночь Крещения Господня.

Борис Евсеев

Живорез

Руководители проекта *В. Лошак, С. Кондратов*

Редактор *Н. Саркитов*

Художественный редактор *О. Скочко*

Корректор *И. Яковенко*

Компьютерная верстка *Е. Яковенко*

Подписано в печать 24.12.07 г.

Формат 70x108 ¹/₃₂. Бумага газетная.

Гарнитура «Журнальная». Печать офсетная.

Тираж 57 000 экз. Заказ № 0805370.

ТЕРРА—Книжный клуб.

127206, Москва, Чуксин тупик, д. 9.



Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат» 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

Народная библиотека «Огонька»

С 1 февраля в каждом отделении Почты
открыта подписка на следующие издания:

Универсальный словарь: В 4 томах	1390 р.	Мериме П. Собрание сочинений: В 5 томах	1250 р.
Большая Энциклопедия «Терра»: В 62 томах	74400 р.	Монтень М. Опыты: В 3 книгах	890 р.
Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона: В 86 полутомах	68000 р.	Моруа А. Собрание сочинений: В 10 томах	2580 р.
Михельсон М. Труды по русской фразеологии: В 6 томах	1960 р.	О. Генри. Собрание сочинений: В 5 томах	995 р.
Детская энциклопедия: В 10 томах	4620 р.	Островский А. Собрание сочинений: В 6 томах	1014 р.
Энциклопедия «Великий час океанов»: В 5 томах	2250 р.	Песков В. Сочинения: В 9 томах	2520 р.
Авенариус В. Собрание сочинений: В 5 томах	990 р.	Похлебкин В. Сочинения: В 6 томах	1450 р.
Алданов М. Собрание сочинений: В 8 томах	1232 р.	Ремарк Э. М. Собрание сочинений: В 8 томах	1592 р.
Андерсен Х.-К. Собрание сочинений: В 4 томах	1520 р.	Родари Дж. Собрание сочинений: В 4 томах	1220 р.
Блок А. Собрание сочинений: В 6 томах	1280 р.	Сабанеев А. Собрание сочинений: В 8 томах	1456 р.
Бунин И. Собрание сочинений: В 9 томах	1830 р.	Сабатини Р. Собрание сочинений: В 10 томах	1820 р.
Гиббон Э. Закат и падение Римской империи: В 7 томах	1386 р.	Софья де Сегюр. Собрание сочинений: В 5 томах	1275 р.
Горький М. Собрание сочинений: В 6 томах	936 р.	Сименон Ж. Собрание сочинений: В 10 томах	1990 р.
Гранин Д. Собрание сочинений: В 5 томах	1075 р.	Соловьев Вс. Собрание сочинений: В 9 томах	2080 р.
Грин А. Собрание сочинений: В 6 томах	1242 р.	Уэдсли О. Собрание сочинений: В 6 томах	1308 р.
Долгополов И. Мастера и шедевры: В 6 томах	1500 р.	Флеминг Я. Собрание сочинений: В 7 томах	1540 р.
Карамзин Н. Полное собрание сочинений: В 18 томах	3060 р.	Фолкнер У. Собрание сочинений: В 6 томах	1194 р.
Колетт С.-Г. Собрание сочинений: В 7 томах	1274 р.	Хаггард Г. Р. Собрание сочинений: В 12 томах	2880 р.
Купер Ф. Собрание сочинений: В 9 томах	1845 р.	Чуковский К. Собрание сочинений: В 5 томах	1025 р.
Лесков Н. Собрание сочинений: В 7 томах	1015 р.	Ян В. Собрание сочинений: В 5 томах	1310 р.